

А. И.  
КУПРИН

*Избранное*



Александр Куприн

**Нарцисс**

«Public Domain»

1897

## **Куприн А. И.**

Нарцисс / А. И. Куприн — «Public Domain», 1897

«Стемнело. В гостиной, куда все четверо перешли пить кофе, еще не зажигали огня. Маленький уголок, который хозяйка дома, баронесса Эйзендорф, кокетливо называла «своим убежищем», совсем потонул в темноте. Холеные латании, фениксы и филодендроны перепутались над головами сидящих, точно свод какой-то экзотической беседки. От красноватого света уличных фонарей их длинные листья бросали на потолок фантастически красивый, дрожащий узор. Из столовой, где еще горели свечи, бежала по полу, прорвавшись сквозь дверную щель, узкая и длинная светлая полоска, невольно притягивавшая к себе глаза...»

© Куприн А. И., 1897

© Public Domain, 1897

## Александр Иванович Куприн

### Нарцисс

Стемнело. В гостиной, куда все четверо перешли пить кофе, еще не зажигали огня. Маленький уголок, который хозяйка дома, баронесса Эйзендорф, кокетливо называла «своим убежищем», совсем потонул в темноте. Холеные латании, фениксы и филодендроны перепутались над головами сидящих, точно свод какой-то экзотической беседки. От красноватого света уличных фонарей их длинные листья бросали на потолок фантастически красивый, дрожащий узор. Из столовой, где еще горели свечи, бежала по полу, прорвавшись сквозь дверную щель, узкая и длинная светлая полоска, невольно притягивавшая к себе глаза. Сидевшие в «убежище» – две женщины и двое мужчин – составляли дружескую, тесную компанию на несколько циничном взаимном покровительстве в области флирта. Все они были молоды, красивы, независимы и богаты. Баронесса вдовела уже четвертый год и часто говорила, что никогда больше не выйдет замуж, потому что пользоваться радостями жизни гораздо удобнее и приятнее, будучи вдовой. Ее приятельница Бэтси не имела причин ей в этом завидовать, хотя и была замужем за очень важным, очень старым и очень снисходительным сановником. Обе дамы представляли своими лицами и фигурами интересный контраст. Баронесса – пышная, томная и ленивая брюнетка, чувственная на вид, но в сущности более нежная, чем страстная, – кидалась всякому в глаза своей тяжелой красотой. Бэтси с первого взгляда не поражала, но в ней при более близком знакомстве чувствовалось такое очарование прихотливого и острого ума, такая неотразимая прелесть нервной, пылкой и больной натуры, безумно жгущей свою жизнь с обоих концов, что число ее поклонников далеко превосходило число поклонников баронессы. Она была мала ростом, с изящной, тонкой фигуркой, блондинка, с нездоровым ярким румянцем, с громадными серыми глазами и с нервным подергиванием в правом углу рта. Она очень часто меняла свои привязанности. В настоящее время ее «рабом» был гвардейский офицер – князь Чхеидзе, ревнивый, глупый и необыкновенно красивый грузин. За баронессой же ухаживал Санин – молодой присяжный поверенный, «восходящее светило криминальной адвокатуры», как его величали судебные хроникеры газет.

– Ах, кстати, – сказала баронесса, закидывая назад голову и обращаясь к адвокату, – я совсем забыла вас поблагодарить за цветы, которые вы мне вчера прислали... прелестный букет!

Она в это время лежала на кушетке, усталая от шумно проведенного дня и отяжелевшая от шампанского, выпитого за обедом. Санин сидел сзади баронессы, облокотившись на спинку ее кушетки.

– Вы, должно быть, заснули там в уголку, monsieur Georges? – продолжала баронесса. – Вы слышите, что я говорю?

Санин лениво повернул к ней голову.

– Слышу, слышу... прелестный букет?... Очень рад, если он вам понравился...

– Ах, я обожаю цветы! Что может быть лучше? И вы как будто бы угадали мой вкус: ландыши, фиалки и сирень... Все такие нежные, тонкие ароматы... Бэтси, ты любишь цветы?

– О да, конечно, – ответила Бэтси, тихо покачиваясь в большом вольтеровском кресле. – Но только мне больше нравятся одуряющие, нежные запахи... Например, я люблю цветы магнолии, померанцевые цветы... Они пахнут так сильно, так сладко, что у меня является желание их есть. Но все-таки любимый мой цветок – тубероза. Он меня опьяняет, точно гашиш... Когда я слишком долго слышу его аромат, мной овладевают какие-то необъяснимые, чудные галлюцинации... Потом, конечно, наступает головная боль.

– А вы, князь? Какой цветок вы любите больше всего? – спросила баронесса. Князь, который больше всего в мире заботился о том, чтобы его считали остряком, и который о каждой своей остроте предупреждал смехом, вдруг резко и отрывисто захохотал.

– Я совсем не люблю цветов. Я больше люблю самые плоды.

– Animal, que vous etes!<sup>1</sup> – воскликнула Бэтси и ударила Чхеидзе веером по руке. – Говорите серьезно.

В темноте послышался звук, похожий на поцелуй, и князь сказал приторным голосом, каким всегда «восточные человеки» говорят комплименты:

– Самый прекрасный цветок роза. Она похожа на вас, Бэтси. Баронесса опять закинула голову, чтобы увидеть Санина.

– А вы, monsieur Georges, отчего же не скажете, какой ваш любимый цветок? – спросила она.

– Мой цветок? Санин задумался.

По лицу его вдруг скользнула какая-то не то грустная, не то нежная тень. По-видимому, он вспомнил что-то очень далекое.

– Нарцисс, – ответил он наконец.

– Нарцисс? Фи! Он такой вульгарный цветок.

– Нет, это цветок влюбленных. Знаете, как о нем говорят на Востоке? И Санин произнес протяжным голосом:

Я шлю тебе нарцисс.

По цвету листьев он

Походит на того, кто до смерти влюблен.

В нем аромат, как в деве в час свиданья,

И бледность юноши в минуту расставанья.

– Это деликатный, наивный, задумчивый цветок. У него такой нежный, еле слышный, пряный запах. Он растет на бледно-зеленом хрупком стебле и, сорванный, вянет, не доживая до утра.

– Ах, боже мой, как чувствительно! – сказала насмешливо баронесса. – Вероятно, у вас с этим задумчивым цветком связаны какие-нибудь деликатные воспоминания?

– Как же. Есть и воспоминания.

– Расскажите, пожалуйста... Это, должно быть, забавно.

– Да, да, расскажите, monsieur Санин, – попросила Бэтси. – Это очень интересно.

– Да тут, собственно, и рассказывать-то нечего, – сказал Санин, подавляя притворную зевоту. – Просто – глупые воспоминания молодости... Я был студентом тогда и, конечно, сильно нуждался. Прочел я как-то в газетных объявлениях, что ищут на лето в отъезд репетитора-студента. Я и поехал в один крошечный уездный городишко, на юг России. Помню, что дорогою я все думал: каковы эти люди, с которыми мне придется провести целое лето? Стану ли я к ним в отношения члена семьи, или меня будут третировать, как «наемника»? О том семействе, куда я ехал, я знал только одно: что там есть гимназист приготовительного класса, которого я должен был приготовить к дальнейшему курсу.

Мой патрон встретил меня на вокзале, и встретил с таким теплым и простым радушием, что все мои опасения мигом рассеялись. Да одна его наружность успокоила бы всякого. Он был один из тех людей, про которых Сервантес говорит: «Толстый – следовательно, добрый человек». Все в нем дышало неисчерпаемым добродушием, кротостью, здоровым юмором и хорошим аппетитом. Его звали Матвеем Кузьмичом. В городе он занимал место уездного врача.

---

<sup>1</sup> Ну что за животное! – фр.

Лет ему было за пятьдесят, и, пожалуй, сильно за пятьдесят. По дороге с вокзала домой Матвей Кузьмич сказал мне:

– Я должен вас, батенька, об одной вещи предупредить (батенька – было его любимое, ласкательное обращение). Знаете, чтобы не вышло какой-нибудь этакой неприятности... Жена у меня – немая... Как родила второго ребенка – мертвого, так с тех пор и лишилась языка... Но слух у нее остался прекрасный... Так вот я и говорю, батенька, чтобы как-нибудь не этого... Ну, да вы меня сами понимаете. Приехали мы. Одноэтажный домик, белый, под зеленой крышей, с чистенькими стеклами, самого веселого и приветливого вида. Большая терраса сплошь затянута зеленью дикого винограда. Глядя издали на такие дома, всегда почему-то чувствуется, что в них люди живут тихой и уютной жизнью.

На террасе нас встретила Виктория Ивановна – хозяйка дома. Несмотря на весьма понятное чувство жалости, которое она во мне возбуждала, я невольно остановился перед ней, пораженный ее странной красотой: такими рисуют художники-символисты ангелов. Представьте себе высокую и тонкую – именно воздушную фигуру, необыкновенно белое, почти без теней лицо и длинные, египетского очерка, глаза, полные молчаливой грусти и в то же время загадочные, как у сфинкса. Надет был на Виктории Ивановне белый костюм какого-то фантастического покроя, весь в продольных складках.

– Витя, представляю тебе такого-то, – сказал Матвей Кузьмич, подводя меня к жене. – Это – студент, будущий Колин репетитор.

Она пристально поглядела на меня, молча наклонила голову и медленно протянула мне руку, прикосновение которой заставило меня вздрогнуть, точно от внезапного предчувствия.

Чем дальше я наблюдал Викторцию Ивановну, тем загадочнее она для меня становилась. В ней было, по-видимому, полное равнодушие к жизни, и ко всем ее проявлениям. И утром, и вечером, и за обедом, и во время прогулок я ее видал все с одним и тем же лицом, на котором как будто бы навек застыло тоскливое выражение... Только к своей прекрасной наружности и к своему всегда фантастическому туалету относилась она с особенной, тщательной заботливостью. Она любила, более чем всякая женщина в мире, смотреть в зеркало и простаивала перед ним чрезвычайно долго.

У нее не было, как это бывает у большинства немых, желания во что бы то ни стало говорить с окружающими. Азбуки немых на пальцах она, по-видимому, не знала, а к жестам прибегала очень редко. Зато она с болезненной страстностью любила музыку и целые вечера проводила за фортепиано. Играла Виктория прекрасно, но, что бы она ни исполняла, – всегда вкладывала в произведение один и тот же отпечаток затаенной, молчаливой тоски.

Интересно и трогательно было видеть отношение Матвея Кузьмича к жене. Этот большой, толстый человек, годившийся ей по годам в отцы, держался с нею точно виноватый и любящий ребенок. Кажется, не было ни одного желания, ни одного каприза, которого бы он тотчас же не исполнил, если бы этот каприз пришел в голову Виктории. Но Виктория принимала его нежное и внимательное ухаживание со своим обычным тоскливым равнодушием, и лишь изредка, при особенно настойчивых расспросах о здоровье, между ее бровей появлялась чуть заметная нетерпеливая морщинка. Этого бывало совершенно достаточно для того, чтобы Матвей Кузьмич мгновенно исчезал с испуганным видом из комнаты. Прошло недели две или три.

Необыкновенное чувство, испытанное мною при первом знакомстве с немой хозяйкой, не проходило. Наоборот, между мной и ею создалась какая-то таинственная, ненормальная связь. Стоило ей хотя мельком посмотреть на меня сзади, я в ту же секунду чувствовал на себе ее взгляд и оборачивался не инстинктивно, как это бывает обыкновенно, – но с полной уверенностью, что именно она на меня смотрит. Мы с ней никогда ни о чем не говорили (мало ли сколько способов можно найти для обмена мыслей), но если я читал что-нибудь вслух или рассказывал о чем-нибудь, я всегда знал, что она сидит тут же, рядом, и не отводит от меня своих

удивительных глаз. Когда же она в сумерках садилась за фортепиано, я забивался подальше, в темный угол, и слушал ее, и был готов без конца слушать... Эта странная духовная связь не походила на начинающийся флирт: в ней было что-то неестественное, жуткое...

Однажды в начале июня, как теперь помню, в воскресенье, день выдался особенно жаркий... И люди и животные дышали с трудом. В густом раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза, но гроза не приходила. Наступил вечер. Отблеск потухающей зари придавал тяжелым сизым тучам кровавый оттенок. Темнело поразительно быстро. Я стоял на террасе, прислонившись к столбу, объятый тем ноющим томлением, которое всегда овладевает мною перед грозой... Вдруг привычная, властная сила заставила меня быстро обернуться назад... Рядом со мной стояла Виктория. Затем произошло нечто непостижимое, ужасное... Я до сих пор не знаю, почему это случилось: виновато ли во всем электрическое напряжение близкой грозы, или я прочел в ее глазах страстный призыв, – наши руки сплелись в диком объятии, и наши губы встретились долго и мучительно-сладко.

Мы ничего не сказали друг другу – ни словом, ни жестом. Очнувшись от этого внезапного поцелуя, Виктория освободилась из моих рук, вынула из-за корсажа свои маленькие часы и показала мне сначала цифру XII, а потом на окно. При этом она знаком показала мне, что если я постучусь, то окно отворится.

Около одиннадцати часов гроза утихла. Я вышел на улицу, взволнованный мыслью о предстоящем свидании и об его необычности. Небо было ясно, чисто и казалось бездонным. Луна светила с какой-то назойливой яркостью. Посредине улицы лежали резкие черные тени домов. Воздух был насыщен острым запахом послегрозовой свежести и тягучим ароматом белой акации.

Проходя палисадником, я заметил грядку нарциссов, белеющих в темноте, нагнулся и, сорвав один, вддел его в петличку сюртука. Потом, тихо скользнув в полуотворенную калитку, я подошел к окну, выходящему из спальни Виктории в палисадник.

Окно было затворено, и, прикинув к нему лицом, я ничего не мог разглядеть, кроме черной мглы. Удерживая дыхание, я постучал еле слышно в стекло. Окно медленно и беззвучно отворилось.

И вдруг я увидел перед собою всего в каком-нибудь полуаршине лицо Матвея Кузьмича, бледное, взволнованное лицо, с глазами, неестественно блестящими от яркого лунного света.

Я инстинктивно схватился за палку.

– Оставьте. Не делайте глупостей, – сказал он со спокойной горечью в голосе. – У жены теперь нервный припадок. Проходите кругом на террасу. Я сейчас там буду. Нам надо поговорить.

Ошеломленный, уничтоженный, взбирался я по ступеням террасы. Матвей Кузьмич уже ждал меня.

– Садитесь, – указал он на скамейку и сам опустился рядом со мной.

В темноте мы не видали лиц друг друга, но я чувствовал, что с моего лица не сходит горячая краска.

– Видите ли, – сказал Матвей Кузьмич ровным голосом, в котором, однако, слышалось подавленное страдание, – видите ли, я знал, что жена назначила вам сегодня ночью свидание, и я не хотел этому мешать.

– Почему? – спросил я шепотом.

– Почему? Позвольте этого вам не объяснять. Скажу только одно: вот уже четвертый год я – ее муж только по имени. И я не помешал бы вам сделать поступок, недостойный вас, если бы с Викторией Ивановной не случился нервный припадок... Понимаете: она не вынесла этих волнений в продолжение нескольких часов, и теперь с ней истерика.

Я молчал, а Матвей Кузьмич продолжал с тем же деланным спокойствием:

– Я вам и завтра не буду мешать. Я не принадлежу к числу ревнивцев, защищающих свое счастье с револьвером в руках... Да я в силу некоторых обстоятельств и не имею на это нравственного права... Живите у нас на каких угодно основаниях... Делайте что угодно... только... только, прошу вас... не обращайтесь в сказку города. Мне это было бы слишком тяжело...

– Нет, на это я никогда не соглашусь, – возразил я, тронутый его самоотверженными словами.

– Да? Не согласитесь? – В голосе Матвея Кузьмича послышалось радостное возбуждение. – Не согласитесь?.. Вы не поверите, как мне отрадно это слышать... Ведь вы с первого раза произвели на меня впечатление такого честного человека... Я почти был уверен, что вы не согласитесь.

– Конечно же, не соглашусь.

– Ну, а теперь – самое последнее... Вам остается взять ее с собою. В ее согласии и сомневаться нечего. Она за вами пойдет хоть на край света. Хотите вы этого?

Я не ответил ни звука. Я не знал, что мне сказать.

– Делайте, как вы найдете лучшим. Все зависит от вас. Я не имею права ни советовать, ни отговаривать, хотя должен сказать, что Викторю Ивановну я обожаю, даже больше – я молюсь на нее. Но я позволю себе сказать только одно... Попробуйте вы обратиться к своей совести и к своему уму. Через год, ну, скажем, через два, не станет ли вам в тягость вечная совместная жизнь с немой женщиной, с уродом?.. Я сам за вас отвечу – да. А если так, то одно из двух: или вам жизнь сделается несносным бременем, или, что еще хуже, вы бросите Викторю – и тогда до конца ваших дней вы не избавитесь от сознания сделанного вами жестокого и несправедливого поступка. Я ее знаю. Она никогда не вернулась бы ко мне после этого...

Слезы щипали мои глаза. Я поднялся со скамейки.

– Простите меня, Матвей Кузьмич, – сказал я, ища в темноте его руку. – Я уезжаю завтра.

В темноте я не видел его лица. Но пожатие его руки было так крепко и искренно, что с моей души точно скатился камень. Санин замолчал.

– И это все? – спросила через минуту баронесса.

– Все, – отвечал Санин.

Баронесса рассмеялась принужденным, нервным смехом, в котором слышалось ревнивое чувство.

– Очень интересный роман. Как это поэтично: немая Пентефрия и целомудренный студент!

Санин нагнулся, взял руку баронессы, поцеловал ее и сказал извиняющимся тоном:

– Ах, баронесса, это ведь было так давно.

1897